## Так живут люди

О. Генри

Перевод Зин. Львовского

Редкая молодая парочка в Великом Городе Блеффа[[1]](#footnote-1) начинала свою супружескую жизнь с большими данными для счастья, чем мистер и миссис Клод Терпин. Во-первых, они не чувствовали особенной враждебности друг к другу; затем, они комфортабельно устроились в красивом доме с отдельными квартирами, снабженными всеми удобствами спального вагона; они жили так же широко, как супружеская чета этажом выше, у которой доход был вдвое больше, чем у них; свадьба их состоялась на пари, на пароме, и по первому знакомству, что вызвало ряд сенсационных газетных заметок, причем имена их стояли под портретами... румынской королевы и Сантос-Дюмона.

Доход Терпина равнялся двумстам долларам в месяц. В день получки, уплатив за квартиру, частично за мебель, рояль и газ и уплатив еще цветочнице, кондитеру, модистке, портному, виноторговцу и «Компании Кебов», Терпины оставляли себе еще двести долларов на мелкие расходы. Как это делается, — одна из тайн столичной жизни.

На домашнюю жизнь Терпинов было так же приятно смотреть, как и на красивую картину. Но она не производила такого впечатления, как, например, олеография «Не разбуди бабушку» или «Бруклин при лунном свете». Всматриваясь в картину жизни Терпинов, вы всегда должны были мигать и слышать при этом жужжащий звук, точно от какой-то весьма нервной машины. Да, в картине семейной жизни Терпинов было мало покоя. Она была вроде «Багренья лососей на реке Колумбии» или же «Японской артиллерии в действии».

Все дни у них были совершенно одинаковы, как это всегда наблюдается в Нью-Йорке. Утром мистер Терпин пил бромо-сельтерскую воду, после чего забирал из-под часов и клал в карман мелкие деньги, надевал шляпу и, не завтракая, отправлялся в контору. В двенадцать часов дня миссис Терпин вылезала из постели, выходила из спальни и из себя, надевала кимоно на тело и важное выражение на лицо и ставила воду для кофе. Терпин завтракал в городе. Домой он возвращался к шести часам вечера, чтобы переодеться к обеду. Они всегда обедали вне дома, — переходили из харчевни в дешевую столовку, из грумриля в табльдот, из винного погребка в вокзальный ресторан, из кафе в казино, от «Марии» к «Марте Вашингтон». Так вообще строится семейная жизнь в большом городе. Вместо винограда у горожан омела, а на смоковнице у них растут финики. Домашние боги их Меркурий и Джон Говард Пэн. Вместо свадебного марша им играют «О, приди с невестой-цыганкой». Они редко обедают два раза подряд в одном месте. Надоедает меню, а кроме того, хочется на время забыть о серебряной сахарнице, случайно взятой на память.

Итак, Терпины были счастливы. У них каждый день появлялось много горячих и очаровательных друзей, причем кое-кого из этих новых знакомых они помнили еще на следующий день. Согласно законам и правилам книги Блеффа, их семейная жизнь была идеальной.

Но вот наступил день, когда Терпину вдруг показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка, — если доход его составляет двести долларов в месяц, — и если в конце месяца, просмотрев счета текущих расходов, он находит, что лично он истратил сто пятьдесят долларов, то ему, естественно, захочется узнать: куда же девались остальные пятьдесят долларов? Он станет подозревать жену и, пожалуй, намекнет ей, что кое-что нуждается в разъяснении.

— Послушай, Вивьен, — сказал Терпин как-то днем, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки, — ты сделала в моем бюджете за этот месяц такую брешь, что в нее пролезет здоровенная собака. Ты платила в этом месяце по счету портнихе?

Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением темно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным щипцам. Клод Терпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провалы дивана, внимательно следил за смеющимся, хорошеньким личиком жены.

— Клод, дорогой мой! — сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку и затем пробуя им безответные щипцы. — Ты страшно несправедлив ко мне. Мадам Туанет не видела от меня ни цента с тех самых пор, как ты заплатил своему портному по счету десять долларов.

Подозрения Терпина на этот раз улеглись. Но вскоре он получил анонимное письмо следующего содержания:

«Следите за женой. Она тайно транжирит ваши деньги. Я тоже был жертвой, как вы теперь. Адрес: „№ 345 Блэнк-стрит“ может помочь вам. Имейте это в виду и т. д.

Осведомленный».

Терпин отнес письмо начальнику того полицейского участка, где он проживал.

— Мой участок чист, как зубы у собаки, — заявил начальник. — Крышка на нем закрыта так же плотно, как глаза девушки из Вилльямсбурга, когда на вечеринке ее целуют кавалеры. Впрочем, если вы находите что-нибудь подозрительное в этом адресе, я готов пойти туда с вами.

На следующий день, в три часа, Терпин и начальник тихо брели по лестнице дома № 345 по Блэнк-стрит. Двенадцать рослых полицейских, одетых в полную форму, чтобы не возбуждать никаких подозрений, ожидали внизу в вестибюле.

На самой верхней площадке была дверь, которая оказалась запертой, но начальник вынул из кармана ключ и отпер ее. Оба вошли.

Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось двадцать или двадцать пять элегантно одетых женщин. На стенах этой комнаты висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном. Приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на происходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но, как бы успокоившись при виде полицейского мундира, снова перевели все внимание на человека у телефона.

— Вот видите, — сказал начальник Терпину, — чего стоит анонимное письмо! Всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на подобную литературу. Мистер Терпин, находится ваша жена среди присутствующих?

— Ее нет здесь, — отвечал Терпин.

— А если бы она и была здесь, — продолжал полицейский, — то разве же ее могла коснуться клевета? Эти леди образуют «Общество Броунинга». Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединен с Бостоном, откуда родственное им по духу общество зачастую передает свои толкования поэм Броунинга. Стыдитесь своих подозрений, мистер Терпин!

— Да бросьте вы защищать их! — воскликнул Терпин. — Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем мне понятное.

— Ничего, кроме Броунинга, — сказал начальник. — Да вот послушайте!

— Танатопсис на одну голову! — проревел человек у телефона.

— Это не из Броунинга, а из Лонгфелло! — сказал Терпин, иногда читавший книги.

— Давно сошел со сцены! — воскликнул полицейский. — Лонгфелло еще в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году побил рекорд в семь минут пятьдесят три секунды.

— А мне все-таки кажется, что в этом собрании есть что-то подозрительное, — настаивал Терпин.

— Не нахожу, — сказал начальник.

— Я понимаю, что все это действительно похоже на тотализатор, но это только ширма. Вивьен где-то много потратила денег. Мне кажется, что здесь происходит что-то скрытое.

Несколько картонных щитов с расписанием скачек, покрывая широкое пространство на стене, плотно прилегали друг к другу.

Движимый подозрением, Терпин сорвал и сбросил их на пол. Обнаружилась умело замаскированная дверь. Терпин приложил ухо к щели и стал внимательно прислушиваться. Он услышал негромкий гул многих голосов, затем тихий и осторожный смех и, наконец, резкий металлический звон, сопровождаемый царапаньем большого количества мелких, но деятельно работающих предметов.

— Боже мой! Вот чего я опасался! — прошептал Терпин. — Зовите сейчас же своих людей! — закричал он начальнику. — Она здесь, я это твердо знаю.

По звуку свистка люди в полицейской форме взбежали по лестнице наверх. Увидев такое количество женщин за тотализатором, они, удивленные и недоумевающие, остановились, не понимая, зачем их вызвали.

Но начальник указал им на запертую дверь и приказал немедленно взломать ее. В несколько минут дверь была разломана топорами, которые были при полицейских. И тотчас же в соседнюю комнату влетел Клод Терпин, за которым поспешил полицейский капитан.

Сцена, которую они увидели, долго оставалась в памяти Терпина. Около двадцати богато и модно одетых женщин, среди которых было много красивых и утонченно-изящных, сидели за маленькими мраморными столиками. Когда полиция взломала двери, женщины стали кричать и метаться во все стороны, точно пестро оперенные птицы, потревоженные в какой-нибудь тропической роще.

У некоторых началась истерика; одна или две упали в обморок; некоторые, бросившись перед полицейскими на колени, молили о пощаде, ссылаясь на свое семейное и общественное положение.

Человек, сидевший за конторкой, схватил толстый, как бедра хористки из «Парадиз-Руф-Гарден», сверток ассигнаций — и выскочил в окно. Около полудюжины служителей столпились в одном конце комнаты, едва дыша от страха.

На столе стояли неопровержимые доказательства вины посетительниц этой роковой комнаты — множество блюд со сливочным мороженым, окруженных грудами других таких же блюд, но уже пустых и выскобленных дочиста.

— Леди! — обратился полицейский к своим плачущим пленницам. — Успокойтесь, я не задержу ни одной из вас. Некоторых я узнаю: у них прекрасные дома и хорошее положение в обществе; мужья их адски работают, а дома их ждут дети. Я вас сейчас отпущу, но прежде, чем отпустить, я прочту вам маленькое наставление. В соседней комнате сейчас такие же женщины, как вы, играют на скачках и ставят свои последние деньги, но часто выигрывают и тем помогают своим мужьям. А вы, вместо того чтобы оказывать своим мужьям такую же поддержку, тратите их заработки. Ступайте домой! А это морозильное отделение при клубе имени Броунинга я закрываю, — раз и навсегда!

Жена Клода Терпина находилась среди посетительниц комнаты, в которую только что было произведено вторжение. В строгом молчании проводил он ее домой, где она расплакалась с таким раскаянием и так трогательно стала молить его о прощении, что он позабыл справедливый гнев свой, заключил раскаявшуюся золотокудрую Вивьен в свои объятия и простил ее.

— Дорогой мой, — прошептала она с едва сдерживаемым рыданьем, когда лунный свет вливался в открытое окно и окружил ореолом ее нежное, поднятое к небу личико. — Я знаю, что поступила нехорошо. Я никогда больше не буду есть сливочное мороженое. Я позабыла, что ты не миллионер. Я ходила туда каждый день. Но сегодня у меня было такое странное, грустное предчувствие, что я ела безо всякого удовольствия и была сама не своя. Я съела всего одиннадцать порций.

— Не будем больше говорить об этом, — ответил Клод, любовно лаская ее локоны.

— А ты уверен, что совсем простил меня? — спросила Вивьен, с мольбой глядя на него влажными небесно-синими глазами.

— Почти уверен, моя крошка! — ответил Клод, наклоняясь и слегка касаясь губами ее белоснежного лба. — Видишь-ли, я буду с тобой вполне откровенен. Завтра — скачки с препятствиями для трехлеток, и я поставил на Вачиллу все мое месячное жалованье. Поэтому... поэтому... если ты так любишь мороженое, можешь его есть сколько угодно, — поняла?

1. Так О. Генри нередко величает Нью‑Йорк. [↑](#footnote-ref-1)